

«У нас много общего. Особенно — советская бедность»

ФЕСТИВАЛЬ

ИЗВЕСТИЯ: Ну да. Не может же Лев Додин сказать: пусть МДТ пока подождет, а я, пожалуй, займусь керамикой.

ГАБРИАДЗЕ: И слава богу, кстати, что не может. Он-то пусть все время ставит. Если вы будете идти по улице и увидите, что он там стоит, надо просто брать большую палку и гнать его в театр, пусть работает... Он такой режиссер! Потрясающий.

«Любой зрячий человек может рисовать»

ИЗВЕСТИЯ: Вы большой выдумщик и, кажется, любите жить не по правилам. Вам когда-нибудь был свойствен авангардистский пафос и желание разрушить традицию? Поиск новых форм ведь очень часто связан с деструкцией.

ГАБРИАДЗЕ: Нет, нет, никогда. Наоборот, я всегда защищал все старое. Считал себя консерватором. И что же... Потом оказалось, что я и есть авангардист. Меня в этом обвиняли в газетах. В чем только не обвиняли... Я многие слова до сих пор не понимаю. Спрашивал потом у своих друзей, что они означают. Тоже толком объяснить не смогли. *(Отвечает на звонок.)* Что такое авангардизм, если задуматься? Возьмем мобильные телефоны, например. Вы заметили, что из-за них многое в построении драмы изменилось. Много забуксовало. Особенно в кино.

ИЗВЕСТИЯ: В каком смысле? Интригу стало сложнее строить?

ГАБРИАДЗЕ: Конечно. Намного сложнее. Мобильный моментально все развязывает. Не надо никуда бежать, а в дороге кого-то убивать, грабить, влюбляться. Можно все разрешить одним звонком. Это очень осложнило работу тех, кто пишет пьесы или сценарии. Но, с другой стороны, такие новые предлагаемые обстоятельства играют еще и роль санитаров леса. Они убирают старые, дряблые мускулы драматургии. В ней, конечно, есть свои неотменимые законы, как законы тектоники или гравитации. Но она все равно начинает выражать себя в новых формах... Я не хочу углубляться сейчас в теорию, а то мне придется кричать: «Ау! Выведите меня из этих дебрей». Я говорю о чисто технической стороне вопроса. О записи текста, например. Конечно, идеальной является та форма, которой пользовались Чехов или Шекспир. Лучше ничего не придумаешь. Но все же... Я вот в какой-то момент подумал, почему бы не записывать пьесы в виде рисунков. И я втихаря это делаю уже лет тридцать. Я прежде считал этот мой случай отдельным, странным и очень стыдился этого. Ну или скажем так — не стыдился, но не показывал никому...



ФОТО: ИГОРЬ ЗАХАРКИН / ИЗВЕСТИЯ

Мобильный моментально все развязывает. Не надо никуда бежать, а в дороге кого-то убивать, грабить, влюбляться. Можно все разрешить одним звонком

ИЗВЕСТИЯ: Это как раз совершенно не отдельный случай. Вы очень уловили тренд современной театральной жизни, где режиссеры — Кристоф Маргалер, например — очень часто сами сочиняют свои спектакли. И в спектаклях этих очень мало слов, это спектакли молчаливых образов. Визуальные скетчи...

ГАБРИАДЗЕ: В моем вчерашнем спектакле («Осень нашей весны». — «Известия») знаете сколько текста? Страниц 10, не больше. А так он довольно длинный, полноценный, потому что многое в нем решается другими средствами. Невербальными. Знаете, я не представляю себе режиссера, который не умеет рисовать. Я имею в виду не рисунок Энгера, конечно, но элементарное что-то. Чайник или стакан. Я вообще уверен, что любой зрячий человек может рисовать.

ИЗВЕСТИЯ: Почему же? Я вот не могу. Совсем.

ГАБРИАДЗЕ: Это вам только кажется. Месяц-полтора — и все будет в порядке.

ИЗВЕСТИЯ: Мне говорили, что нет такого человека, которого нельзя было бы научить петь.

ГАБРИАДЗЕ: А вот это ерунда. Очень много таких. Я, например. Хотя я очень часто пою в душе. Ну и в душе, конечно, тоже. *(Смеется.)* Но это не считается. Кто из нас не поет в душе?

ИЗВЕСТИЯ: Да уж. Правда, в душе я и рисую неплохо. Есть такие художники, и вы, мне кажется, к ним относитесь, для которых очень важным оказывается детство и всякие воспоминания, связанные с тем местом, где они родились.

ГАБРИАДЗЕ: Мне многие об этом говорят, хотя я писал и другие вещи типа «Кин-дза-дза!», которые никакого отношения не имеют к моему детству. Может, только к моей старости. Конечно, я очень люблю детство. Я, как и вы, наверное, все время смотрю канал Discovery. Так вот наука говорит, что человек формируется от зачатия до шести лет. Что же тут удивляться? А вообще величайшая книга о детстве «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна». Ничего лучше и прекраснее о детстве я не знаю. Если бы американская литература не дала нам больше ничего, этого романа было бы достаточно, чтобы называть ее великой.

ИЗВЕСТИЯ: Но к детству можно относиться по-разному. Был такой польский режиссер, я его очень люблю, Тадеуш Кантор. Он-то как раз все спектакли ставил о своем детстве, но отношение к этому детству было у него очень сложным. Это было психологическое изживание детских комплексов, страхов, потрясений. А тот мир, который вы воскрешаете, предстает очень опозитивированным.

ГАБРИАДЗЕ: Вы замечательный пример привели. И конечно, у меня тоже есть и такой опыт детства, как у Кантора (хотя уверен, что и у него было мое детство). У меня тоже всего было достаточно — и Фрейда, и Кафки. Но знаете, есть одна разница. Все, кого мы тут назвали, горожане, а у меня значительная часть детства прошла в деревне, послевоенной, наполненной поэзией, которой очень часто сопутствует крайняя бедность. Не стал бы говорить — высокая поэзия, потому что высокой в наше время бывает только мода.

«Бедность и искусство — давние друзья. Богатство и искусство, впрочем, тоже»

ГАБРИАДЗЕ: Слушайте, и чего высокого в этой высокой моде все находят, я не понимаю. Если бы вы видели скюртук Моцарта... Или зайдите в Петербурге в театральные музеи, попросите женскую накидку к платью для императорских театров или ремешок. Вы это положите перед собой и будете загнипотизированы. Этот ремешок сделан из миллиона деталей, из 10 000 маленьких бусинок. Виртуозно сделан. Я просто поражаюсь, как это все возможно. На социальной лестнице беловейки находились очень невысоко, да и в прямом смысле они жили невысоко, на первых, то есть хуже всего освещаемых, этажах. Они, может, и в театре-то никогда не бывали... И при этом высочайшая степень ощущения красоты. Везде — и в Петербурге, и в Тбилиси, и в Киеве. Я иногда переносюсь мысленно в Петербург Достоевского. Или попозже даже, в эпоху Александра III. Вот у окна сидит простая девушка при керосинке или при свече (керосинки в 80-х годах появились, после открытия нефти в Баку), и при этом освещении человек создает то, чем гордился бы — я даже не знаю — Врубель. Вот так тона класть. Взять болотно-зеленый и бесконечную череду синих и к синему черное подложить снизу. Это очень трудная художественная задача. Жутко трудная. И откуда эта девчонка, которую притащили в город на телеге вместе с капустой, уже замерзающей, покрытой инеем, которая живет в помещении, этой же самой капустой пропахшем, откуда она черпала мастерство и вдохновение, чтобы эту задачу решить... Ума не приложу. Если бы была машина времени, я бы слетал туда. Просто поцеловал бы им руки, этим беловейкам, и быстро вернулся обратно. Но мы должны вернуться к театру.

ИЗВЕСТИЯ: Да что вы, у нас нет никаких предписаний. Вы сказали, что поэтическому видению мира часто сопутствует бедность. А нынешняя грузинская бедность способна породить такие же по силе и пронзительности поэтические образы, которыми наполнены ваши спектакли?

ГАБРИАДЗЕ: Она и порождает. У нас очень много способной молодежи. Особенно в опере. У нас есть прекрасный режиссер Давид Сакварелидзе. Я уверен, вы о нем еще услышите. Бедность и искусство — давние друзья. Богатство и искусство, впрочем, тоже. И так бывает, и эдак...

ИЗВЕСТИЯ: Вчера, когда я смотрела ваш спектакль, я, как, наверное, и все сидящие в зале, думала о неразрывности наших двух стран.

ГАБРИАДЗЕ: А когда вы смотрите на испанский танец хотя, у вас нет ощущения, что между Россией и Испанией тоже неразрывная связь. А когда я, грузин, читаю рассказ Чехова «Студент», я разве не чувствую себя русским? У нас есть одно общее — душа.

ИЗВЕСТИЯ: Я говорю не о метафизической общности, а об очень простых конкретных вещах. О визуальной узнаваемости того мира, который предстает на сцене: зал заседания в суде, банк, железнодорожная станция...

ГАБРИАДЗЕ: Я помню, в молодости между Москвой и Тбилиси ходили поезда. Долго шли, четверо суток. Мы приезжали все черные, только зубы белые. И я все смотрел с верхней полки на травы и видел, вот трехлистник растет. Он и Орле есть. Но он и у нас есть. Конечно, у нас много общего. Особенно — советская бедность. И в русской, и в грузинской деревнях воду носили примерно в одних и тех же ведрах. Теперь эти ведра мы, к счастью, выбросили. Но кое-что связывающее нас ведь все-таки еще осталось.